

ченное на мелком жульничестве, — воспеваётся во втором томе уже в большом плане хищного эксплуататорского хозяйничанья сперва помещика, потом откупщика; эта перекосившаяся ось второй части должна была стать маяком будущего развития России! Как произошло это с Гоголем? В истории русской литературы нет более острой и трудной проблемы, нежели пропасть между двумя томами «Мертвых душ», разрыв между задуманным и сделанным. Ее решают и освещают по-разному.

В промежутках между первым и вторым томами «Мертвых душ» Гоголь пережил очень большую трагедию, которой не смог преодолеть. Речь идет не только об ошибке публикации елейной «Переписки с друзьями», оскорбившей переловые слои русской общественности. Речь идет и о небольшом, как будто, эпизоде с «Капитаном Копейкиным», случившемся во время печатания первого тома «Мертвых душ» и столкнувшем его со страшным произволом царской цензуры.

Гоголь закончил первый том «Мертвых душ» почти в полном изнеможении. Наступила пора напечатания. Но разрешение на это нет и нет. Измученный Гоголь, вместо отдыха после работы, должен нечеловечески напрячь нервы, чтобы вести переписку, кланяться, просить, ходатайствовать. В начале января 1842 года он в полном отчаянии пишет В. Ф. Одоевскому: «Рукопись моя запрещена», просит помощи у Белинского, у Плетнева, у Прокоповича; обращается к князю Дондукову-Корсакову, к министру С. С. Уварову. Больно читать его «почтительнейшие просьбы» о том, чтоб гордость великой русской литературы, бессмертная поэма его могла увидеть свет: «Вот уже пять месяцев меня томят странные мистификации цензуры, то манищей позволением, то грозящей запрещением, и наконец я уже сам не могу понять, в чем дело, и чем моя рукопись могла навлечь неблаговоление...».

Полгода страшной тревоги, и наконец следует разрешение печатать, но с

тем, чтоб повесть о капитане Копейкине была изъята. Для Гоголя начинаются новые мытарства. Он пишет Прокоповичу 9 апреля: «Выбросили у меня целый эпизод Копейкина, для меня очень нужный, более даже, нежели думаю они. Я решился не отдавать его никак».

Чтоб только сохранить эту коротенькую повесть, Гоголь идет на переработку. Можно было бы назвать сделанную им переработку издевательством над цензурой, если б в ней не было предательства по отношению к самому себе... Что же сделал Гоголь с повестью, чтоб только ее сохранить? В первоначальном варианте капитан Копейкин был самым человечным из персонажей «Мертвых душ». Вернувшись с Отечественной войны 12-го года, без руки и без ноги, — на своих деревяшках, во всей своей незащитности, без кола и двора, без куска хлеба — Копейкин был, в сущности, воскресшим гоголевским Акакием Акакиевичем. И вот он является в престольный град Питер, чтоб исхodateйствовать себе пенсию или пособие. Гоголь рисует своим сильным пером генеральский дворец, бездушных чиновников, долгое ожидание, обманчивую видимость ответа, хождение Копейкина снова и снова на своих деревяшках во дворец, его решимость добиться правды, он проеся, истратился, ему некуда деваться. И тогда высокое начальство, взбешенное бестактностью приставания какого-то жалкого калеки, отправляет его назад, на «местожительство», которого уже нет у него, — по этапу. А за этим следует продолжение: Копейкин исчез, но в рязанских лесах появилась шайка разбойников с атаманом...

Запертый в душном покое страшных «рож» своего романа, в мире Ноздревых, Собакевичей, Чичиковых, Плюшкиных, — Гоголь вдруг позволил себе вспомнить бедного маленького Акакия Акакиевича и дать ему самую большую роль — сделать его отдушиной, взбунтоваться им, увести его в рязанские леса, как уводил когда-то сэр Вальтер Скотт (которым Гоголь, кстати сказать, упоенно зачитывался перед началом работы над «Мертвыми душа-

ми»), — своих цыган и бедных рыцарей, бунтарей-иоменов и Робин Гудов в знаменитые английские леса.

Таким знаем мы в наше время «капитана Копейкина». Многие из нас и не заглядывали никогда в тот страшный вариант, какой был напечатан при жизни самого Гоголя. Ни за что не пожелав выбросить из романа эту свою «отдушину», Гоголь остался ее ценой вторичной расправы с незащитным Акакием Акакиевичем. Он сделал вид, будто с самого начала задумал капитана Копейкина не как жертву, а как наглеца. Он усилил в новом, сделанном для цензуры, варианте картины петербургской роскоши, соблазняющие калеку; он сделал его пьянчужой и обжорой; он превратил бездушное царское начальство в благодетелей-филантропов, из своего кармана жертвующих на «пропитанье» Копейкину, а гнусную царскую канцелярию — в дом добра и правды. И он написал Плетневу, зная, что тот покажет письмо цензору Никитенко, свое отречение от бедного калеки:

«Уничтожение Копейкина меня сильно смутило! Это одно из лучших мест в поэме, и без него — прореха, которой я ничем не в силах заплатать и зашить. Я лучше решился переделать его, чем лишиться вовсе. Я выбросил весь генералитет, характер Копейкина означил сильнее, так что теперь видно ясно, что он всему причиною сам и что с ним поступили хорошо. Присоедините ваш голос и подвиньте кого следует... Передайте ему (Никитенко) при сем прилагаемый ответ и листы Копейкина...» (выделено мною. — М. Ш.).

Мне думается, как бы ни объяснять трагедию Гоголя, — такая перекраска революционного места в «Мертвых душах», такое уничтожение строк, в которых восстал на несправедливость обиженная человеческая личность, такой быстрый вычерк действительно страшной картины уже не одной только помещичьей дикости, а всего царского строя, — не могли пройти бесследно для самого Гоголя. Они отбросили длинную тень на будущие

страницы второго тома и сделались своего рода «memento mori», вечным напоминанием, быть может, убившим в зародыше свободное творческое вдохновение уже задуманных Гоголем страниц.

Спустя семь лет бесплодной творческой пытки над вторым томом «Мертвых душ», Гоголь шел как-то по Тверскому бульвару вместе со славянофилом Ф. В. Чижовым. Он пожаловался ему: «У меня все расстроено внутри... Я, например, вижу, что кто-нибудь спотыкнулся; тотчас же воображение за это ухватится, начнет развиваться — и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают мои силы». Критика тех лет отводила огромное место духовному перелому писателя в сторону религиозного аскетизма. К сожалению, гораздо меньше внимания обращено было на инстинктивные, зачастую скрываемые от друзей, попытки Гоголя найти свою светлую Русь, свое утраченное вдохновение, поддержку себе и своей работе — в сближении с тем лагерем, от которого его ревниво охраняла среда славянофилов С. Аксакова, Н. Погодина, С. Шевырева, — с лагерем Белинского. Насколько трудно ему было прорваться из тесного кольца этой среды, названной П. Кулишом «министерством общественной нравственности», — говорят такие факты, как вынужденная тайна, которою Гоголь окружил свое свидание с Белинским; и свидетельство того же П. Кулиша (первого обстоятельного биографа Гоголя) о том, как он прегрешил в своей книге о Гоголе, умолчав о его секретных посещениях журналистов и газетчиков передового общественного лагеря тех лет. Именно там, в кружке Белинского, среди людей, ненавидевших крепостничество, мог бы Гоголь найти атмосферу для создания «живых душ» своего второго тома. И как раз передовая Русь — Русь Белинского и Чернышевского, — поняла и приняла великое наследие Гоголя, и оно стало одним из самых мощных орудий в ее борьбе против крепостничества и самодержавия.